

Элеонора Шестакова

Мотив *русский человек на rendez-vous* как зеркало позиции литератора-критика-литературоведа

Рассмотрение проблемы, заявленной в названии статьи, посвященной переосмыслению 1917 года, необходимо начать с двух очевидностей.

Во-первых, 1917 год – это не календарное, а глобальное социально-культурное и цивилизационное событие, которое существенно влияет не только на последующие за ним, но и вносит кардинальные ретроспективные изменения в восприятие и судьбу даже давно произошедших фактов, событий, явлений, идей. Жесткой ревизии подвергается прежде всего прошлое, которое необходимо адаптировать в новую господствующую ценностную систему координат. Здесь важно то, что С. Жижек, ссылаясь на К. Маркса, идеи франкфуртской школы, пишет о сути идеологии и механизмов её воздействия:

«Самым простым определением идеологии является, возможно, известное изречение из “Капитала” Маркса: “*Sie wissen das nicht, aber sie tun es*” – “Они не осознают этого, но они делают это”. Сама суть идеологии предполагает своего рода исходную, определяющую *naïvete*: превратное понимание собственных предпосылок, своих действительных условий, дистанцию, разрыв между так называемой социальной действительностью и нашим искаженным представлением о ней, нашим осознанием её. <...> Маска уже не просто скрывает действительное положение вещей – идеологическое искажение вписано в самую его суть» (курсив автора – Э.Ш.)¹.

Кроме того, события типа 1917 года никогда не бывают спонтанными, а имеют ряд предпосылок, факторов, идейных, концептуальных основ, которые их подготавливают, а затем задают идеологическую, социальную системы координат, которые могут быть нивелированы или разрушены столкновением с другой, точнее иной, системой общественно-идеологических отношений.

Во-вторых, словесно-культурный процесс – это неизменно своеобразное отражение социально-политических, исторических, общественно-культурных, повседневных событий, явлений, идей, умонастроений. Это специфическое «зеркало» для

¹ Жижек, Славой. Возвышенный объект идеологии. Москва: Художественный журнал, 1999, 35, 36.

действительности, её героев, которое улавливает и в преображенном виде хранит события, явления, идеи не только своей современности, но и прошлого, а также предвосхищаемые образы будущего. При этом словесно-культурный процесс тоже активно влияет на культурные устроения с помощью ключевых, константных и значимых для национальной и/или мировой традиций образов, героев, понятий, идей. Л. Пумпянский в работах 20 – 30-х гг. прошлого столетия удачно определил это взаимоотношениями «литературной и общественной культур»².

Что же эти очевидности означают для понимания сущности и принципов взаимосвязи глобальных исторических событий и словесно-культурного процесса, если их перестать воспринимать как устоявшиеся, бесспорные тезисы?

С одной стороны, есть уже давно выработанный гуманитаристикой, значимый и в филологии подход к профессиональному осмыслению глобальных исторических явлений. Как правило, при разговоре о влиянии социальных катаклизмов, подобных 1917 году, на словесно-культурный процесс акцент делается на двух базисных моментах. Во-первых, на сознательном взаимоотношении литератора-критика-литературоведа с теми ситуациями, явлениями и героями, которые вызваны к жизни революциями. Эти взаимоотношения обычно разворачиваются и осмысляются в диапазоне от осознанного, идейного, последовательного и однозначного неприятия произошедшего кардинального социально-культурного слома через колебания, рефлексию случившегося до признания, поддержки, активного участия в строительстве «нового мира». Во-вторых, на сознательном отношении «нового» к «бывшему», «старому» миру, которое базируется на утверждающей себя идеологии и новых моделях социальной и общественно-творческой коммуникации. Главный акцент делается на анализе позиций, идей, убеждений, поступков интеллектуально-духовной, морально-нравственной элиты – литератор-критик-литературовед, – вынужденной жить в новых социально-политических и историко-культурных условиях. Это известные бинарные отношения власть/личность, мы/они, своё/чуждое, внешнее/сокровенное, социальное/интимное. Они разворачиваются в предсказуемом диапазоне от строгого, жесткого, целенаправленного контроля за «старой» элитой и процессом её вхождения в «новый мир» или отчуждения от него до показательной, всесторонней поддержке тех, кто вписался в новые условия. При таком подходе ключевым оказываются личности элиты (литератора-критика-литературоведа) и

² Пумпянский, Лев. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. Москва: Языки культуры, 2000, 409.

сделанный ими выбор, который реализуется в идейной концепции и поэтике произведений: художественного, публицистического, научного.

В такой системе координат исследование должно двигаться от биографической личности литератора-критика-литературоведа в сторону создаваемых ими текстов и совершаемых публичных, общественно значимых поступков. Если использовать как аналогию известный вывод Бориса Эйхенбаума о том, что идейным и сюжетным центром «личного» или «аналитического» романа служит «<...> не внешняя биография («жизнь и приключения»), а именно личность человека – его душевная и умственная жизнь, взятая изнутри, как процесс»³, то вполне можно сделать следующий вывод. Словесно-культурный процесс при подходе, нацеленном на исследование специфики изображения в художественных, публицистических произведениях и интерпретации в научных текстах глобальных исторических событий, отражает внешнюю биографию («жизнь и приключения») литератора-критика-литературоведа, живущих («путешествующих») своим временем и переживающих созданные им перипетии. При этом словесно-культурный процесс, в первую и определяющую роль, – лишь зеркало социально-политических, историко-культурных катаклизмов и процессов, механизмов их стабилизации, легитимации или же упадка и гибели. Значит, внутренняя жизнь словесно-культурного процесса оказывается если и не вторичной, иллюстративной, то и не самостоятельной, что приводит к потере им в целом и его составляющими самостоятельности, самооценности. Хотя необходимо уточнить: это по-прежнему одно из традиционных, серьёзных, необходимых, всё ещё не утративших свою эффективность направлений литературоведческого анализа, но для современной филологии уже не достаточных для понимания природы, сущности и тенденций развития словесно-культурного процесса.

С другой стороны, есть ещё один подход, который необходимо учитывать и разрабатывать, выясняя судьбу и тенденции развития словесно-культурного процесса в его неизбежной взаимосвязи с социальными катаклизмами, принципиально изменившими мировоззрение, мировосприятие и имеющими длительные последствия, как это и было задано 1917 годом. Этот подход нацелен на словесно-культурный процесс как самодовлеющую и саморазвивающуюся целостность. Его акценты направлены непосредственно на прояснение сути художественного, эстетического, поэтики произведения, их неизменно специфической соотнесенности с историко-

³ История русского романа в 2-х т. Москва – Ленинград: Изд-во Академии Наук СССР, 1962, 1, 298.

культурными, социально-политическими и общественными процессами. Он кается двух «взятых изнутри процесса»⁴, если использовать идею Б. Эйхенбаума, аспектов. Во-первых, природы, основ, принципов, собственно литературных особенностей формирования, существования творческой памяти словесно-культурного процесса как саморазвивающегося целого. Здесь важен момент зарождения, существования, сосуществования, трансформации, угасания, возрождения в этом процессе и каждом его отдельном произведении толщи словесно-культурных смыслов. Эти процессы не всегда и не обязательно причинно-следственным образом, по принципу наивно всё отражающего зеркала, зависят от историко-культурных, социальных катаклизмов. Во-вторых, реакций, принципов, моделей адаптации словесно-культурным процессом происходящих социально-культурных, историко-политических сломов, подобных 1917 году.

В отличие от традиционного литературоведческого подхода, нацеленного на биографически-творческую личность и продуцируемые ею тексты, здесь отправной точкой оказываются понятия *произведение, система произведений, мотив*, в которых существует и через которые проявляется память творчества, память словесности. С. Бочаров это охарактеризовал как генетическую память литературы, основанную на платоновском припоминании, когда

«наверное, не будет преувеличением заключить, что сама ткань литературы, её “текстура”, сплетается из припоминаний разного рода, ещё очень мало нами замеченных, и можно на этот взгляд хорошо знакомую русскую литературу представить как разветвлённую память»⁵.

Ведущим при таком подходе выступает мотив как неотъемлемая, сильная составляющая и мирового, и национального словесно-культурного пространств; как то, что в себе собирает, кодифицирует, хранит, защищает, развивает национально-культурные, общекультурные, словесно-культурные смыслы и память. Сложные, объёмные смысловые напластования, словесно-культурная память мотива своеобразно подчиняют себе литератора-критика-литературоведа, заставляя их, вопреки идеологическим установкам, проявить подлинное видение проблемы, ситуации, героя, о которых пишут. Здесь, под воздействием памяти и силы национального словесно-

⁴ Там же.

⁵ Бочаров, Сергей. Генетическая память литературы. Москва: РГГУ, 2012, 13.

культурного пространства, литератор-критик-литературовед должны увидеть и отобразить мир, его героев, события, идеи так, как «...“они существуют на самом деле”, без кривого зеркала идеологии...»⁶, только с позиции норм, закономерностей художественной литературы. В противном случае произойдёт вполне ожидаемое выхолащивание, гибель художественного, публицистического, научного произведений, их переподчинение идейно-пропагандистским заданиям и, как предсказуемый результат, кардинальная трансформация всего словесно-культурного процесса. Это тот важный аспект существования идеологии, о котором размышлял С. Жижек. Понятно, что социально-политические, культурные катаклизмы и творческая, культурная память своеобразно и не всегда предсказуемо взаимодействуют «на территории» мотива, помимо воли заставляя литератора-критика-литературоведа делать личностный, гражданский и профессиональный выбор.

Кроме того, революционные катаклизмы, подобные 1917 году, неизбежно вызывают слом *горизонта ожидания* (Ханс-Роберт Яусс) и читательского, и писательского, и исследовательского. За этим предсказуемо-естественным для социально-культурных катастроф сломом всегда следует и *как бы* неожиданное проявление, возникновение, выстраивание новых смыслов, открывающихся и реципиентам, и творцам художественных, публицистических, научных произведений в процессе их встречи и диалога со знакомым литературным явлением, в том числе и мотивом.

Отталкиваясь от таких методологических позиций, базирующихся на общей теории мотива (Александр Веселовский, Владимир Пропп, Альфред Бём, Ольга Фрейденберг), идеях, разработках сибирской школы мотива (Елена Ромодановская, Валерий Тюпа, Игорь Силантьев), концепции памяти творчества и словесности (Михаил Бахтин, Лев Пумпянский, Сергей Бочаров, Александр Михайлов), принципах рецептивной эстетики («констанцкая школа»), предлагается проанализировать мотив *русский человек на rendez-vous* как зеркало позиции русских литератора-критика-литературоведа, переживающих воздействие 1917 года.

Как хорошо известно, мотив, или как его еще определяют в литературоведении *сюжет, сюжетная ситуация, сюжетная схема, типичная ситуация, лейтмотив, основной миф, русский человек на rendez-vous* можно считать одним из самых *длинных,*

⁶ Жижек, Славой. Возвышенный объект идеологии..., 36.

долгоиграющих (С. Бочаров) в русской словесности.⁷ Такая традиция заложена критическими статьями Николая Чернышевского и Павла Анненкова, а затем активно развита художественной критикой XIX – XXI столетий и литературоведением. Этими критическими статьями намечены два основных, во многом пересекающихся, но всё-таки самостоятельных направления осмысления мотива. Идеи Н. Чернышевского – теоретика «реальной критики» – актуализировали поведение, психологию русского человека на *rendez-vous* общественно-историческим, социально-политическим контекстами. Для «эстетика» П. Анненкова важнее иные контексты: историко- и общественно-культурный, объясняющие эволюционные изменения в мировоззрении и поступках русской интеллигенции. Однако при всей мировоззренческой разнице критиков и различии идейно-смысловых акцентов трактовки героев русской литературы их статьями было чётко сформулировано, обосновано и закреплено в национальной словесно-культурной традиции общее представление о мотиве *русский человек на rendez-vous*.

Мотив *русский человек на rendez-vous* быстро вошел и сам стал активно формировать *творческую и генетическую* (С. Бочаров) память русской литературы и одновременно критики, литературоведения и, естественно, образованного читателя. Этот мотив на протяжении длительного времени, начиная со второй половины XIX века и по сей день, оказывается социально и литературно актуальным. Он способен, по утверждениям русской творческой элиты, дать ответы на волнующие русскую культуру общественные и профессиональные вопросы. Так, А. Макушинский в статье 2003 г. «Отвергнутый жених, или Основной миф русской литературы XIX века» напишет о русском человеке на *rendez-vous*:

«...эта схема (этот конфликт, этот сюжет... как угодно) представляет собой некий *основной миф русской литературы XIX века*. <...> Это основной миф столетия, миф, в котором выражает и оформляет себя существенная проблематика, важнейший конфликт эпохи» (курсив автора – Э.Ш.)⁸.

Но и после XIX века этот мотив не исчезнет из русской словесности. Он значим и для художественной литературы Серебряного века, а затем – для рефлексии русской

⁷ См. об этом подробнее: Шестакова, Элеонора. О принципах и основах трансформации мотива *русский человек на rendez-vous* в русской словесности XIX – первой трети XX вв. // Антропологические сдвиги переломных эпох их отражение в литературе: Сб. науч. ст. в 2-х ч. Гродно: ГрГУ, 2014, 1, 278–288.

⁸ Макушинский, Александр. Отвергнутый жених, или Основной миф русской литературы XIX века // Вопросы философии, 2003, №7, 35–43 (цит. 36).

культуры XIX – XXI столетий История этого *долгоиграющего* мотива – это во многом история и русской словесности, и науки о ней. Можно утверждать: мотив *русский человек на rendez-vous* – своеобразное «зеркало», в котором запечатлена внутренняя жизнь сложного единства «литературной и общественной культур»⁹, переплавленного в объёмную, лабиринтообразную, основанную на платоновских *припоминаниях* толщу смыслов. Этот мотив – «зеркало», в котором фокусируются и отображаются позиции литератора-критика-литературоведа, предопределённые социально-идейными, общественно-культурными и повседневными традициями, настроениями их эпох; к тому же это «зеркало», хранящее отражения попыток литератора-критика-литературоведа уловить настроения русской словесности, реализоваться в пространстве её традиций. В конце концов, этот мотив – «зеркало» национального самосознания, воплощенного и существующего *через и в* литературе, которая есть

«<...> форма художественного познания человеком себя и окружающей действительности; <...> форма самопознания и самосознания нации. <...> Развитие литературы – это постоянный процесс *самопознания нации*, ее прошлого и настоящего, и не прекращающийся спор о путях ее дальнейшего исторического движения» (курсив автора – Э.Ш.)¹⁰

Переломный 1917 год и заданный им на длительное время горизонт восприятия событий, явлений, понятий изменил и судьбу мотива *русский человек на rendez-vous*. Однако и мотив тоже не остался пассивным в отношении этого социального катаклизма. Он проявил новые тенденции, а порой и кардинально изменил мировоззрение, мироощущение многих литераторов-критиков-литературоведов, что отразилось в поэтике их произведений. Этот мотив оказывается близким идеологии и культурным умонастроениям русской интеллигенции, становящейся советской. Это во многом повлияло на формирование официального видения мотива. После 1917 г. доминирующей становится его трактовка, заданная статьей одного из признанных Лениным, партийными идеологами критика – Н. Чернышевского и прочитанная с позиции «революционной целесообразности»¹¹. Критики, литературоведы до сих пор,

⁹ Пумпянский, Лев. Классическая традиция..., 409.

¹⁰ Николаев, Дмитрий. «Литература есть сознание народа...» // Русская литература как форма национального самосознания. XVIII век. Москва: ИМЛИ РАН, 2005, 3–41 (цит. 7, 8).

¹¹ Отчасти этот аспект проблемы, которая здесь рассматривается, затрагивался мною, например: Шестакова, Элеонора. Развитие мотива *русский человек на rendez-vous* в малой прозе Серебряного века // Серебряный век: диалог культур. Сборник научных статей по материалам III Международной

теперь уже в силу объективных причин, находятся в сложных и неоднозначных взаимоотношениях с таким официальным, идеологически маркированным толкованием мотива *русский человек на rendez-vous*. Показательно, что в начале нашего столетия такое, закреплённое в моделях и принципах социальной коммуникации советского времени, отношение к русской классике и её основному мотиву снова станет предметом полемики с прошлым, по-прежнему сильно влияющим на культурные унаследования настоящего.

Например, в 2004 г. Л. Аннинский вступительную статью к своей книге литературно-критических статей о русской поэзии второй половины XX века под названием, обыгрывающим статьи русской критики – «Русский человек на любовном свидании», – начинает с идейного спора с почти официально закреплённой точкой зрения на мотив. Этот спор оформлен в преднамеренно иронично-саркастичной стилистике, стремящейся показать в общих чертах, *что* не смогли и не захотели увидеть демократы и революционеры в художественной литературе и почему сделали свою позицию доминирующей, «единственно правильной», если использовать язык советской идеологии. Л. Аннинский пишет: «Жанр подсказан названием знаменитой статьи Чернышевского»¹². Далее следует полемика с позицией Н. Чернышевского и с тем, как интерпретировали её и для широкого, и для узкого, профессионального, круга читателей идеологи 1917 года. Л. Аннинский шаржированным образом сосредоточил внимание на общепринятом общественноцентричном подходе к *русскому человеку на rendez-vous*, противопоставляя его любовной истории – основе и квинтэссенции мотива, по его представлению. Он возражает сложившейся в русской критике и части советского литературоведения господствующей моносемантической, однонаправленной идейно-политической традиции трактовки этого мотива и той методологии, которая обедняла и выхолащивала смысловую, идейную, художественную и эстетическую целостность мотива:

«...Чернышевский <...> – вождь революционных демократов размышляет вовсе не о любви. Его интересует политика и приближающаяся с освобождением крестьян дележка

конференции, посвященной памяти профессора С.П. Ильёва. Одесса: Астропринт, 2012, 428–446; Шестакова, Элеонора. Особенности формирования мотива *русский человек на rendez-vous* в русской критике второй половины XIX столетия // Русистика: сборник научных трудов. Выпуск 12. Киев: ВПЦ «Київський університет», 2012, 54–66.

¹² Аннинский, Лев. Русский человек на любовном свидании. Москва: Согласие, 2004, 5.

власти. <...> Меня интересует как раз то, что взято тут в качестве прикрытия. <...> амурная тема»¹³.

Л. Аннинскому важно показать смысловую, идейно-этическую и художественную ущербность созданного революционными настроениями официального понимания и всего русского словесно-культурного процесса, и его основного мотива. Для него существенно противопоставить «внешнюю», по Б. Эйхенбауму, историю русской словесности, непосредственно и жестко зависящую от историко-политических, общественных факторов, мировоззрения художников, критиков истории «внутренней», художественно-литературной, знающей и уважающей ценность человеческой личности и её чувств.

Аналогичный, но выполненный в иной стилистике спор с русской литературной критикой и классикой, а также их официально закреплённой 1917 годом рефлексией осуществляется в статье 2005 г. А. Бартова «Кто вы, классики русской литературы, творцы или проповедники?», которая заканчивается выводом:

«Именно благодаря художественному мастерству, а не мировоззренческой проповеди Тургенев, Толстой, Достоевский оставили огромный след в литературе. Без них нельзя себе представить и современную прозу, как известно, далеко не назидательную. В наше время пришло осознание того, что писатель не должен проповедовать, он должен оставить читателя в покое и ничего не требовать от него морально»¹⁴.

Для А. Бартова тоже крайне значимо переосмысление традиционных, *долгоиграющих* (С. Бочаров) явлений русской словесности с позиции их художественной, литературной ценности и самозначимости *без* или *вне* сильного влияния общественно-культурных, социально-исторических факторов. Он, как и Л. Аннинский, пытается показать пагубность и неправомерность восприятия произведений литераторов через призму оценивания их художественного мастерства их же общественными убеждениями. Взаимосвязь художественного и общественного начал в творчестве писателя, по убеждению А. Бартова, нельзя понимать упрощенно, представляя таким образом, что гражданская, дидактическая и собственно творческая позиции как бы должны непосредственно соотноситься, иллюстрировать друг друга. Это чётко и

¹³ Там же, 5, 6.

¹⁴ Бартов, Алексей. Кто вы, классики русской литературы, творцы или проповедники? // Нева, 2005, №10, 180–186.

полемически заострённо сформулировано в названии статьи. Для А. Бартова важно переместить акценты с общественноцентричной традиции интерпретации словесно-культурного процесса в целом и каждого его представителя, его произведения на художественноцентричную, когда литературе возвращается её собственная самоценность, значимость её «внутренней» жизни и истории.

Однако такая, признающая самостоятельность, в определённой мере даже самодовление мотива в словесно-культурном процессе, рефлексия становится возможной только с ретроспективной точки зрения, основанной на опыте и анализе общественных умонастроений почти за полтора столетия, системы художественных, литературно-критических и научных текстов, для которых важен *русский человек на rendez-vous*. Такого рода рефлексия возникает как закономерная реакция одновременно и на внешние по отношению к словесно-культурному процессу события (Перестройка, изменение мировоззренческих, нравственных, идейно-политических ориентиров постсоветского социально-культурного пространства), и на его внутренние запросы и потребности (кризис прежней господствующей методологии, невозможность в её границах вести исследование художественной словесности). Коллизии сильной теории литературы и длительное время доминирующей официальной методологии, основанной на марксистско-ленинской идеологии, особенно остро проявились на «территории» мотива *русский человек на rendez-vous*, который невозможно было обойти. Этот мотив – одна из основ и констант русского словесно-культурного процесса и одновременно одна из ведущих идеологем советской культуры, базирующейся на именах-символах и идеях российской демократической традиции. Как своеобразная идеологема, которая выростала из целенаправленного осмысления литературного мотива под определённым идейным, методологическим углом зрения, *русский человек на rendez-vous* формировался в русской критике, а затем в советской системе не только литературоведения, но и пропаганды¹⁵. К рубежу же наших столетий *русский человек на rendez-vous* превратился в своеобразный стереотип, удобное, но выхолощенное идеологическое клише, под которое подходит неимоверное количество явлений: от типов героев русского классического романа до поведения современного жителя России в любых жизненных ситуациях. Столь популярный в нынешнее время запрос в поисковых системах, например, «Yandex», «Bing» «Google» выдаёт несколько

¹⁵ Аналогичные процессы характерны и для других национальных литератур и культур. См., например, Тайманова, Татьяна; Легенькова, Елена. Жана д'Арк: мифология и идеология // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология, Востоковедение, Журналистика, 2013, вып. 3, 100–107.

сот тысяч разнородных ответов на фразу «русский человек на rendez-vous»: от рекламы и рецензий на постановку спектакля студией Петра Фоменко до статьи «Русский человек на rendez-vous с гонконгской революцией».¹⁶ Происходил этот процесс постепенно, последовательно, отчасти путём выхолащивания, эксплуатирования идей русской классической литературы для выстраивания общественно-идеологических, национально-культурных основ, принципов жизнедеятельности, для обоснования моделей и специфики национального характера.¹⁷ Намеченная настроениями русской интеллигенции второй половины XIX века, заданная в обедненно-усеченной политкорректной формулировке 1917 годом и преодоленная к началу нашего столетия односторонняя, сфокусированная исключительно на социально-политических, историко-общественных смыслах система интерпретации *русского человек на rendez-vous* привела к трём основным последствиям. Они сильно сказались и на видении основ, принципов, системности существования словесно-культурного процесса, и на принципах, методах его исследования.

Первое последствие. Советские критики и литературоведы длительное время «не видели» тех тенденций развития мотива, которые были осуществлены в произведениях А. Чехова, В. Брюсова, Н. Гумилёва, А. Аверченко, Ф. Сологуба накануне 1917 г. и которые не укладывались в общественноцентричное прочтение мотива.¹⁸ Идеи Н. Чернышевского, объясняющие поведение героя на любовном свидании его общественно-исторической несостоятельностью, примененные к героям литературы рубежа XIX – XX вв., привычно актуализировали их традиционной социально-политической ситуацией, но мало что объясняли в их сущности. Устойчивый интерес писателей к нюансам психики, эмоциональных переживаний героев в ситуации *rendez-vous*, к тому, что и Н. Чернышевский, и П. Анненский, и Ф. Достоевский в критических статьях определили в качестве объединяющего – *странного* – поведения и

¹⁶ См., напр., <http://kashin.guru/2014/11/05/umbrellas/>; <https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/m.1904.html>; <https://vz.ru/opinions/2013/11/12/659102.html>; <http://avmalgin.livejournal.com/2534986.html>; <http://fomenko.theatre.ru/performance/rendezvous/>; <https://becky-sharpe.livejournal.com/1690955.html> и т.п.

¹⁷ См. о некоторых аспектах этой проблемы: Шестакова, Элеонора «Пушкинское» и «Лермонтовское» в мотиве *русский человек на rendez-vous*: не услышанные идеи русской критики и упущенные возможности литературоведения // Уральский филологический вестник, 2013, №2: Серия Русская литература XX – XXI веков: направления и течения, 21–40.

¹⁸ См., напр: Шестакова, Элеонора. Логика каприза (на материале малой русской и украинской прозы рубежа XIX – XX ст.) // Русская литература. Исследования, вып. VII, Київ, 2005, 216–234; Шестакова, Элеонора. Аксиологические основания каприза в художественном мире Н. Гумилёва // Серебряный век: диалог культур. Одесса, 2007, 322–330; Шестакова, Элеонора. Развитие мотива *русский человек на rendez-vous* в рассказе И.А. Бунина «Мордовский сарафан» // Поэтика и риторика диалога: сб. науч. ст. (к 60-летию проф. Т.Е. Автухович). Гродно: ГрГУ, 2011, 299–313; Шестакова, Элеонора. К.Д. Бальмонт и И.С. Тургенев: возможность диалога на территории прозы // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2012, № 1014, Серія Філологія, вип. 65, 237–253.

самосознания героев русской литературы, в том числе и в любовных отношениях, остаётся вне поля зрения советского литературоведения. Хотя необходимо отметить, что русской классической критикой эта особенность тоже не была воспринята и охарактеризована как самостоятельное, субстанциональное свойство русского литературного героя на rendez-vous. При всём том, что и критики пишут о странности любовного поведения, любовного романа, они стараются аргументировать это социальными, историко-культурными причинами и обстоятельствами.

Например, Ф. Достоевский в первой из двух статей «Книжность и грамотность» (1861), обосновывая особенности национального характера, обусловленные им типичные черты героев, свойства мировидения русских писателей, и прежде всего А. Пушкина, пишет: «Тогда мы все вдруг стали прозревать и увидели в окружающей русской жизни явления странные, не подходящие под так называемый европейский наш элемент, и в то же время не знали, хорошо ли это или дурно, уродливо или прекрасно?»¹⁹. Далее, пытаясь показать особенность поведения русского типа героя в любви, когда встречается ему прекрасная девушка, Ф. Достоевский тонко подмечает: «Онегин не узнал ее и, как следует, сначала поломался над нею, отчасти оказался и хорошим человеком, и сам не знал, что сделал: хорошо или дурно?»²⁰. И обосновывая всё это странное поведение и мироощущение историческими обстоятельствами, самобытностью русского характера, его непохожестью ни на что европейское, Ф. Достоевский делает вывод:

«Это тип вошел, наконец, в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и развиваться с каждым новым поколением. В Печорине он дошел до неутолимой желчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально-русской противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самонезнания. <...> От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти»²¹.

Ключевое определение героев типа Онегина, Печорина, Рудина – *странность* – находит у Ф. Достоевского истоки в социальном, культурно-историческом положении России, но он не забывает и о его собственно художественно-поэтических основах и

¹⁹ Достоевский, Федор. Книжность и грамотность. Статья первая // Русская критика эпохи Чернышевского и Добролюбова. Москва: Детская литература, 1989, 98–105 (99).

²⁰ Там же, 101.

²¹ Там же, 102.

принципах. Советское же литературоведение это социально-историческое обоснование делает если и не единственным, то господствующим принципом для анализа поэтики *русского человека на rendez-vous* в произведениях А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Тургенева, А. Чехова, задавая тем самым для исследования национально-идеологическую и общественноцентричную системы координат и соответствующие им подходы и методы.

Эта *странность*, отмеченная критиками и рассмотренная ими в общественно-политическом, социально-историческом контекстах, ассоциировалась, прежде всего, с мировоззренческой слабостью героя и нравственной силой героини с цельной русской душой, а собственно любовная история выступала фоном и лакмусовой бумажкой общественной и моральной (не)состоятельности героя. Повторяющая *странная* любовная история русских героев, связывающая в единое литературное целое пары (от пушкинской Онегина и Татьяны, лермонтовской Печорина и Мери, тургеневской г-на Н.Н. и Аси до чеховской Огнева и Верочки, художника и Мисюсь, аверченковской безымянного любовника и Елены Александровны), не воспринималась как самоценная, сокровенная интимно-личностная история любви. Ни в чеховских «Таланте» (1886), «Верочке» (1887), «Огнях» (1888), «Шуточке» (1886), «Рассказе неизвестного человека» (1893), «Доме с мезонином» (1896), «Невесте» (1903), ни в брюсовских «Первой любви» (1910), «Через пятнадцать лет» (1913), «Пустоцвете» (1913), ни в гумилёвских «Принцессе Заре» (1908), «Путешествии в страну эфира» (1916), ни в аверченковских «Бритве в киселе» (1915), «Хвосте женщины» (1917) ни по отдельности, ни, тем более, в их системных взаимосвязях мотив *русский человек на rendez-vous* не был увиден как объединяющая их «обобщенная форма семантически подобных событий сюжетных, взятых в рамках определённой повествовательной традиции...»²². Это во многом обусловлено литературоведческой методологией, базирующейся на ценностях и рефлексии 1917 г.²³

Дореволюционные произведения «врагов» 1917 г., например, Н. Гумилёва, А. Аверченко, тоже рассматривались с позиции их «внешней биографии», но почти не исследовались с точки зрения поэтики. «Внутренняя жизнь» их произведений, её включенность в общий национальный словесно-культурный процесс оказались на

²² Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий, гл. науч. ред. Натан Тamarченко. Москва: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008, 130.

²³ См., например, о некоторых аспектах этой проблемы: Шестакова, Элеонора. Проблема женского начала в *мотиве русский человек на rendez-vous* // Уральский филологический вестник, 2015, №2: Серия Русская литература XX – XXI веков: направления и течения, 56–70.

длительное время не значимыми перед социально-политическими и идейными задачами литературоведения. Это, как следствие, привело к уже известному обеднению, выхолащиванию сущности и целостности русского словесно-культурного процесса, и к невозможности понимания принципов, природы существования таких его составляющих, как произведение, система произведений, мотив, интертекстуальные связи, восприятие, творческая память. Причём это касается произведений не только «дореволюционных врагов революции», но и тех писателей, которых 1917 год признал и призвал изучать. В исследованиях творчества А. Чехова, И. Тургенева доминирующий акцент делается на жанровом, стилистическом, идейном, проблемно-тематическом анализе произведений, что тоже длительное время не способствует выделению, изучению мотива *русский человек на rendez-vous* как самоценного явления саморазвивающегося словесно-культурного процесса. Ценностные ориентиры русской классики, как это определил В. Хализев, актуализируются внешними социально-историческими и общественно-культурными, идеологическими факторами. Это, по его справедливому замечанию, привело к искривлению в изучении русской словесности: «Наши представления о ней как целом весьма неопределенны и шатки, хотя порой формулируются жестко и безапелляционно. <...> Так, в доперестроечные времена (на протяжении десятилетий) официальной идеологией активно и небезуспешно насаждался миф об отечественной классике как по преимуществу, а то и полностью не приемлемой социальные отношения в России, гневно обличавшей привилегированные сословия и государственную власть, чаявшей радикального преобразования общественного строя. <...> И *такой* классике, обедненной и искаженной, воздавались высочайшие хвалы» (курсив автора – Э.Ш.)²⁴.

Мотив *русский человек на rendez-vous* в этом плане попадает в двойную социально-идеологическую ловушку: помимо господствующей методологии, идейных предпочтений в направлении исследований он еще зависит и от официальной трактовки, статуса в советском литературоведении статьи, идей Н. Чернышевского. Как следствие, этот мотив почти весь советский период воспринимается не как устойчивая, повторяющаяся смысловая, структурная целостность, присущая русской национальной повествовательной традиции, а как характеристика определённого общественно-литературного типа героев. В связи с таким образом заданной 1917 годом и до сих пор трудно преодолимой системой координат, в произведениях, например,

²⁴ Хализев, Валентин. Ценностные ориентиры русской классики. Москва: Гнозис, 2005, 6, 7.

А. Чехова фактически только на рубеже наших столетий начинается изучение мотива *русский человек на rendez-vous* как мотива²⁵. В творчестве И. Тургенева *русский человек на rendez-vous* тоже рассматривался не как мотив, лейтмотив или сюжетная ситуация, схема, а как «одна из характернейших особенностей “лишнего человека” в романах, да и не только в романах, Тургенева...»²⁶. Можно утверждать, что советское литературоведение²⁷, рассматривающее русского человека на *rendez-vous* в общественно-литературной системе координат, не могло увидеть внутреннюю жизнь и целостность этого мотива. Эта система координат и predeterminedная ею методология естественным образом требовали апелляции к идейным позициям писателя там, где обнаруживались коллизии интимно-человеческого, любовного и социального. Отсюда и особенности поэтики русской классики, которые могло увидеть советское литературоведение, отдающее предпочтение общественноцентричной системе координат, вписывающее прежде всего литературу в историко-социальные и культурно-политические процессы, ситуации.

Это привело к трём основным результатам. Во-первых, *русский человек на rendez-vous* прочно оказался взаимосвязан с общественно-литературным типом *лишнего человека* и, следовательно, не воспринимался как структурно-смысловая целостность. Во-вторых, в качестве мотива, тем более для которого важно интимно-личностное и сокровенно-любовное начало, он стал целенаправленно исследоваться на рубеже XX – XXI веков. В-третьих, в современных исследованиях наблюдается обратная по отношению к русской критике и советскому литературоведению тенденция: преобладает актуализация мотива историей любви, спецификой интимных переживаний героев²⁸. Несмотря на безусловную важность и актуальность таких работ,

²⁵ Например: Капустин, Николай. «Чужое слово» в прозе А.П. Чехова. Дисс. уч. ст. д.ф.н. – Иваново 2003; Живолупова, Наталья. Художественная антропология Ф.М. Достоевского в творчестве А.П. Чехова: любовный конфликт как проблема греха и прощения // Вестник ОГУ, 2004, №11, 14–20; Литовченко, Мария. Повесть А.П. Чехова «Рассказ неизвестного человека»: диалог с «онегинским» сюжетом // Вестник ТГПУ. Томск, №3 (118), 2012, 132–136; Якимова, Людмила. Мотивная динамика в произведениях А.П. Чехова 1890 – 1900-х годов: от скуки к терпению // Критика и семиотика, Вып. 14, 2010, 143–168; Якимова, Людмила. След Достоевского в повести А.П. Чехова «Невеста» // Сюжетология и сюжетография, 2013, № 2, 24–29.

²⁶ Рейфман, Павел. «Новый человек» на *rendez-vous*: (роман И.С. Тургенева «Накануне») // Тр. по рус. и славян. филологии. Литературоведение, Тарту, 1998, № 1, 124–145 (124).

²⁷ См.: Шестакова, Элеонора. «Пушкинское» и «лермонтовское» в мотиве *русский человек на rendez-vous*...

²⁸ Напр.: Дмитриева, Екатерина. Русский человек на *rendez-vous* (усадебная любовь и ее литературное моделирование) // Солнечное сплетение, №16–17: URL: http://www.plexus.org.il/texts/dmitrieva_russ.html (дата доступа 10.08.2017); Мурзак, Ирина и Ястребов, Андрей. У ваших ног я признаюсь! Сюжет объяснения в любви в русском романе // Клуб «Литературные забавы»: Мир литературы: Уголок любовного романа. URL: <http://www.apropospage.ru/index.html> (дата доступа 10.08.2017); Ребель, Галина «... У счастья нет завтрашнего дня» (Пушкинские традиции в повести И. С. Тургенева «Ася») // Филолог,

направленных на изучение «внутренней» любовной истории русской литературы, всё же необходимо отметить следующее. Общественно значимые проблемы, которые действительно важны для мотивной целостности, отходят на второй план или же нивелируются и, следовательно, снова формируется однонаправленное представление о сущности мотива.

Советские критики, литературоведы, исходя из историко-политической ситуации, не учитывали особенностей трансформации, воплощения поэтики мотива *русский человек на rendez-vous* в эмигрантской прозе К. Бальмонта («Крик в ночи» (1921)), И. Бунина («Солнечный удар» (1925), «Ида» (1925), «Маленький роман» (1925), «Мордовский сарафан» (1925), «Руся» (1940), «Галя Ганская» (1940), «Натали» (1941), «Чистый понедельник» (1944)). В результате русский словесно-культурный процесс перестал восприниматься критиками и литературоведами, не говоря уже о читателях, как естественная целостность, что недопустимо. Д.П. Николаев справедливо пишет по этому поводу:

«Нет двух русских литератур, как нет и двух русских культур. Литература каждого народа, каждой нации – едина. Даже в тех случаях, когда в результате трагических исторических событий часть нации оказалась “отколотой” от основной ее массы (как это произошло после Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны), она по-прежнему ощущает себя принадлежащей к бывшей общности и стремится к познанию этой общности и своего места в ней»²⁹.

В связи с событиями 1917 года, расколовшими цельность русского словесно-культурного процесса, многие тенденции развития мотива *русский человек на rendez-vous* оказались «белым пятном» для советской критики и литературоведения. В то время как в эмигрантских произведениях К. Бальмонта, И. Бунина, как и дореволюционной малой прозе А. Чехова, В. Брюсова, Н. Гумилёва, А. Аверченко, поэтика мотива демонстрирует последовательное, мягкое, но значимое ускользание от общественноцентричных проблем, от типов *лишнего, сильного, нового человека*,

№ 7 (2005), 49–61; Чавдарова, Дечка. «Русский человек на rendez-vous с европейцем» в русской литературе XIX века: любовный сюжет как метонимия межкультурного диалога // Сюжетология и сюжетология, 2015, № 1, 27–37. URL: <http://www.philology.nsc.ru/journals/sis/pdf/SS2015-1/03.pdf> (дата доступа 10.08.2017).

²⁹ Николаев, Дмитрий. «Литература есть сознание народа...», 8.

сосредотачивая внимания на экзистенциальных состояниях героев³⁰. В прозе В. Набокова, писателей, представляющих младшее поколение эмиграции, проявляются и другие тенденции развития этого мотива, которые нуждаются в изучении.

Второе последствие. Мироззрение, заданное 1917 годом и базирующееся на идеях русской демократической традиции, привело к интерпретации, во-первых, зачастую чрезмерно политизированной, введенной в господствующий контекст социально-политических споров и проблем; во-вторых, необоснованно расширенной в отношении сущности и самого *rendez-vous*, и причин поведения, и особенностей характера героев. Такое представление о явлении русский человек на *rendez-vous*, уходящее в работы русских критиков, органично вписывалось в идеологию 1917 года, подготовленную несколькими поколениями русской интеллигенции. Дм. Овсяннико-Куликовский в итоговой для русской классической литературы (и шире – культуры) работе «Из «Истории русской интеллигенции»» (1903 – 1910) постоянно акцентирует внимание на том, что Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин, Лаврецкий – это разные люди, но «...они принадлежат к одному и тому же *общественно-психологическому* типу. Это – тип *неудачника* и *лишнего человека*» (курсив автора – Э.Ш.)³¹. Такой подход позволил максимально акцентировать внимание на социально-политическом, историческом аспекте *русского человека на rendez-vous*, постепенно нивелировав до предела его женское начало и интимно-любовную составляющую за счёт масштабирования национальной специфики, общественно-идеологического, культурного своеобразия отношений русского человека (прежде всего, мужчины) и истории, государства. *Русский человек на rendez-vous* почти растворился в типологической линии *лишнего человека*, обреченного на общественно-политические неудачи из-за своего историко-культурного прошлого, неизбежно и однозначно предопределяющего проблемы настоящего. *Русский человек на rendez-vous* и *лишний человек* постепенно стали если и не тождественными, синонимичными, то типологически единосущными героями, а ситуация *rendez-vous* перестала

³⁰ См. об этом: Шестакова, Элеонора Странничество героя: экзистенциальный аспект (мотив «русский человек на *rendez-vous*») // Русский травелог XVIII–XX веков: коллективная монография / под ред. Татьяны Печерской. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015, 322–354; Шестакова, Элеонора. Феноменология бездомности героев мотива *русский человек на rendez-vous* в русской словесности XIX – первой трети XX вв. // W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczenie zamieszkiwania i bezdomności, pod. red. Wandy Supru, Iwony Zdanowicz, Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2016, 41–63; Шестакова, Элеонора. Инварианты и трансформация мотива *русский человек на rendez-vous*: от Тургенева-новеллиста к новеллистике Бунина // Уральский филологический вестник, 2017, № 3: Серия Русская литература XX – XXI веков: направления и течения, 40–68.

³¹ Овсяннико-Куликовский, Дмитрий. Из «Истории русской интеллигенции» // Он же. Литературно-критические работы. В 2-х т. Москва: Худож. лит., 1989, 2, 4–304 (99, 130).

восприниматься как любовная, интимно-личностная. Это тот значимый момент в развитии мотива *русского человека на rendez-vous*, когда он из явления художественного, общественно-литературного трансформировался в одну из идеологем советской власти, нашедшей естественные основы и идеи для своего мировоззренческого обоснования и легитимации.

В частности, об этом свидетельствует статья А. Лаврецкого «Лишние люди» (6 т. «Литературной энциклопедии», 1932) со ссылками на идеи известных и уважаемых критиков и литературоведов того времени Дм. Благого, А. Луначарского, В. Воровского. В начале этой статьи, посвященной анализу определённого типа литературных образов русской и западноевропейской литератур, акцент сделан на общественной проблеме «отчуждение от среды, доходящее до полного отрыва, выпадение из нее». Это обусловлено тем, что «лишний человек» «неспособен к выполнению общественных функций, необходимых его классу, его социальной группе»³². Один из основных выводов такой трактовки *лишних людей* и их естественной разновидности *русского человека на rendez-vous* – это мононаправленная, обусловленная классово-политическими, мировоззренческими установками интерпретация идей русской критики, а уже на их основе – произведений художественной литературы. А. Лаврецкий пишет:

«Для Чернышевского ясно, что в конце 50-х годов, на великом историческом повороте, все различия между либералами и консерваторами превратились в несущественные оттенки, что либералы так же боятся крестьянского восстания, как крепостники, и он обращается к “русским людям” на “rendez-vous” – на этом историческом “rendez-vous” – со словами, чрезвычайно метко выражающими отношение разночинной интеллигенции к дворянской в конце 50-х годов...»³³.

Здесь акцент преднамеренно сделан на чрезмерно обобщенно понимаемом, почти утратившем смысловую и идейную определённость понятии «rendez-vous». Оно становится своеобразным символом или же идеологемой русского общественного процесса, а затем советского – защитника и в определённой мере преемника передовых идей и людей русского дореволюционного общества. В результате таких интеллектуально-идеологических манипуляций *русский человек на rendez-vous*

³² Лаврецкий А. «Лишние люди» // Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.], 1929–1939. Т. 6, Москва: ОГИЗ РСФСР; Гос. словарно-энцикл. изд-во «Сов. Энцикл.», 1932, стб. 514, 515.

³³ Лаврецкий А. «Лишние люди»... Стб. 534.

утрачивает свою художественно-литературную целостность и длительное время существует в специфически дифференцированном, можно даже сказать, искусственно разорванном состоянии, когда общественно-литературный подход актуализирует в нём тип *лишнего человека*, героя-мужчины, а любовная составляющая и героиня рассматриваются в линии женских образов русской литературы.

Эти тенденции и закрепятся в магистральном ряде работ советского литературоведения вплоть до конца 1980-х гг. прошлого – начала нашего века. Один из ярких примеров. В известной и профессиональной монографии П. Пустовойта «И.С. Тургенев – художник слова» (1980) очевидно то, как происходит разрыв целостности *русского человека на rendez-vous* вследствие выбранной методологии анализа произведений русской классики. Показывая психологическую, поэтическую связь образа Натальи Ласунской («Рудин») с пушкинскими героинями, анализируя любовную историю в романе, П. Пустовойт естественным для литературоведа образом подходит к ситуации рандеву и объясняет его в традиционном ракурсе, заданном критикой и идеями 1917 года:

«...Наталья любит его настолько сильно, что даже не видит его слабых сторон, верит в его силу и способность к большому делу. <...> Неспособность Рудина сделать решительный шаг в отношениях с Натальей, безволие, проявившееся в объяснении с ней, критики справедливо истолковывали как признак социальной несостоятельности героя»³⁴.

Далее, с абзаца следует не рассмотрение особенностей любовного конфликта, мотивов поведения героев в любовной ситуации, не исследование преобладания любовного сюжета и отношений пары Онегин-Татьяна, Рудин-Наталья, что важно для понимания сути *русского человека на rendez-vous*, а апелляция к общественной позиции

И. Тургенева: «Ко времени появления в печати романа “Рудин” уже намечалось идейное расхождение Тургенева с редакцией журнала “Современник”»³⁵. В результате применённого подхода к трактовке тургеневских произведений «Затишье», «Фауст», «Ася», «Первая любовь», где всё «чисто эстетическое», «освещается преимущественно интимная, психологическая тематика»³⁶, П. Пустовойт делает вывод, свидетельствующий об однонаправленном понимании статьи Н. Чернышевского и чрезмерной социализации и политизации мотива *русский человек на rendez-vous*.

³⁴ Пустовойт, Пётр. И.С. Тургенев – художник слова. Москва: МГУ, 1980, 180.

³⁵ Там же.

³⁶ Там же, 181.

Литературовед акцентирует внимание на том, что в этих произведениях «... на первый план выдвигается мотив невозможности личного счастья для глубоко и тонко чувствующего человека в условиях русской действительности»³⁷. Он пишет:

«Причину неосуществимого счастья ... Тургенев объясняет несостоятельностью “лишнего человека”, безвольного дворянского Ромео... Н.Г. Чернышевский <...> вскрыл социальную сущность безволия тургеневского героя, показал, что его личное банкротство является выражением начинающегося банкротства социального»³⁸.

В результате чего *русский человек на rendez-vous* постепенно из общественно-литературного типа трансформируется в один из негативных символов российской имперской социальной культуры.

Аналогичные идеи и методы анализа литературного процесса применены и в «Истории русской литературы в 4 томах», под редакцией Н.И. Пруцкова. В третьем томе, «Расцвет реализма» (1982), читаем:

«Н.Г. Чернышевский в статье “Русский человек на rendez-vous” (1858) проблему положительного героя связал с революционным делом. Критики-эстеты не могли принять злую и меткую характеристику российского либерализма, содержащуюся в статье Чернышевского. В ней они узнали самих себя. В 1858 г. П.В. Анненков в статье “Литературный тип слабого человека” выступил против концепции положительного героя у автора статьи “Русский человек на rendez-vous”. Внешне Анненков выразил согласие с Чернышевским, а в действительности противопоставил ему типично либеральную программу»³⁹.

Понятно, что под таким углом зрения художественно-литературные произведения русской классики рассматриваются как своеобразные реплики социально-политического диалога, как составляющие идейно-политической борьбы, но не в качестве самоценных явлений словесно-культурного процесса. Как понятно и то, что постепенно идеалы революционной и классовой борьбы будут становиться периферийными при разговоре о русском человеке на rendez-vous. Однако заданная тенденция расширенного, стремящегося к идейно-культурной символизации, но

³⁷ Там же.

³⁸ Там же, 182.

³⁹ История русской литературы в 4 томах. Под ред. Никиты Пруцкова. Ленинград: Наука, 1980–1983. URL: <http://feb-web.ru/feb/irl/default.asp?feb/irl/rl0/rl3/rl3.html>. Дата доступа 10.08.2017.

зачастую приводящего к семантической опустошенности толкования этого явления, останется. *Русский человек на rendez-vous*, ставший одновременно духовно, идейно близким и русской дореволюционной интеллигенции, и советской власти, – это и общественно-литературное, историко-культурное, национальное явление, которым можно обозначить почти всё, происходящее в России и с Россией.

В итоге такое своеобразное по отношению к художественной литературе и не всегда осознаваемое в процессе культурной коммуникации, созданное идеями, нормами, моделями, ценностными ориентациями 1917 года восприятие *русского человека на rendez-vous* оказывается значимым и для современной нам критики. Она продолжает развивать не только традиции русской классической критики, но и советской идеологии, постепенно превратившей *русского человека на rendez-vous* в один из символов и идеологему русской культуры, которые призваны свидетельствовать и обосновывать не только национальные особенности характера, но и социально-политическую, историко-культурную специфику дореволюционной жизни, естественно приведшей к событиям 1917 года. Однако для нашей современности это обнаруживает иные смыслы: *русский человек на rendez-vous* приходит к своему семантическому, идейному пределу и даже опустошенности, оказывается почти омертвевшим даже для интеллигенции клише, которое может быть применимо к почти любому социальному явлению. Так, в 1998 г. Т. Толстая публикует в «Знамени» статью об Андрее Макашине «Русский человек на rendez-vous»⁴⁰; в 2001 г. в «Дружбе народов» в разделе «Критика» издается статья О. Лебедушкиной «Роман с немцем, или Русский человек на rendez-vous с Западом»⁴¹; 2006 г. в журнале «Индекс/Досье на цензуру» А. Мокроусов публикует рецензию «Русский человек на randеву» на книгу социологических исследований: «Отцы и дети: поколенческий анализ современной России»⁴², а в 2013 г. в «НЛО» выходят беседы А. Чанцева с русскими писателями-эмигрантами последней волны под общим заглавием: «Русская литература на randеву»⁴³. Понятно, что при таком взгляде на мотив *русский человек на rendez-vous* и его необоснованное, выхолащивающее суть расширение уже не приходится говорить о проблемах не то что «внутренней», но даже «внешней», по

⁴⁰ Толстая, Татьяна. Русский человек на rendez-vous // Знамя, № 6, 1998. URL: <http://magazines.russ.ru/znamia/1998/6/tolst.html>. Дата доступа 10.08.2017.

⁴¹ Лебедушкина, Ольга. Роман с немцем, или Русский человек на rendez-vous с Западом // Дружба народов, № 9, 2001. URL: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/9/lebed.html>. Дата доступа 10.08.2017.

⁴² Мокроусов, Андрей. Русский человек на randеву // Индекс/Досье на цензуру, № 23, 2006. URL: <http://www.index.org.ru/journal/23/mokr23.html>. – Дата доступа 27.03.2017.

⁴³ Чанцев, Александр. Русская литература на randеву // НЛО, № 124 (6/2013). URL: <http://www.nlobooks.ru/node/4188>. Дата доступа 10.08.2017.

Б. Эйхенбауму, истории и жизни русского словесно-культурного процесса. Тонкое и этим значимое единство литературной и общественной культуры, о чём писал Л. Пумпянский, при таком восприятии *русского человека на rendez-vous*, оказывается принципиально невозможным. Зато активно работающая рефлексия 1917 года и выбранные, целенаправленно идеологически выстроенные им символы русской культуры уже в нашем столетии оказываются достаточно сильными.

В связи с такой ситуацией возникает несколько вопросов, требующих в дальнейшем прояснений.

Во-первых, история *лишнего человека* и *русского человека на rendez-vous* как типологически близких, а то и родственных общественно-литературных типов для русской и, естественно, советской критики и литературоведения заканчивается XIX веком, произведениями русской классической литературы. Однако и советская литература, как и литература русского зарубежья, – это преемница и составляющая русского словесно-культурного процесса. Следовательно, советская литература не могла «забыть», полностью нивелировать столь значимый для классической словесности мотив, как *русский человек на rendez-vous*. Понятно, что в связи с резко изменившимися социально-политическими, культурными условиями жизни, повседневностью, а также под углом зрения советской идеологии, вписывающей этот мотив в общественно-политический, историко-культурный контексты, *русский человек на rendez-vous* не мог быть присущ советской литературе. Но так ли это, какие видоизменения претерпел мотив в литературе соцреализма, предстоит ещё выяснить.

Во-вторых, семантическая размытость и в определённой мере опустошенность явления *русский человек на rendez-vous*, которые наблюдаются уже к концу XX столетия, стремление связать это явление с русской классической литературой, конкретными историческими эпохами и ситуациями (прошлым), а также обосновать им национальные особенности характера и культуры (настоящее) обнаруживают своеобразную растерянность поздней советской, а затем и постсоветской критики перед целостностью русского словесно-культурного процесса. Это приводит к невозможности увидеть и описать его цельность, системность, единство развития, реализующиеся через эмигрантскую, советскую и постсоветскую литературу. В итоге *русский человек на rendez-vous* предстаёт как давно сформировавшийся, застывший стереотип. Но так ли это с точки зрения словесно-культурного процесса? И это тоже необходимо исследовать.

Третье последствие. Происходит маргинализация литературоведческих исследований, рассматривающих мотив *русский человек на rendez-vous* в философско-литературном и европейском историко-литературном контекстах. Это, например, и случилось с работами 1920-х гг. Л. Пумпянского, которые стали фактом активной научной коммуникации только в конце 90-х гг. XX века. В 1970 – 1990-х гг., под воздействием появления новых культурных унастроений, обусловленных сдвигами в общественных и историко-политических тенденциях рефлексии 1917 г., в советском литературоведении развивалось периферийное для господствовавшей научной идеологии и методологии направление исследования мотива *русский человек на rendez-vous*⁴⁴. Точнее, русский человек на rendez-vous ещё не рассматривался в полной мере как мотив, но уже была обоснована *онегинская схема* и её роль в развитии русского романа. Это направление сосредоточило внимание на его анализе как на естественном художественно-эстетическом явлении словесно-культурного процесса, знающем влияние социально-политических, историко-общественных ситуаций, но не зависящим, не отображающим их напрямую, подобно журналистике.

Подводя общий итог, нужно отметить следующие моменты. Осмысление мотива *русский человек на rendez-vous* критикой и литературоведением – это, прежде всего, профессиональное, общественное и личностное морально-этическое самоопределение исследователя, который вынужден был помнить о горизонте восприятия жизни, заданном 1917 годом, но мог выбирать ракурс анализа. Выбор позиции восприятия, осмысления мотива – это во многом выбор и обоснование литератором-критиком-литературоведом идеологической, культурной и профессиональной позиций в художественном и научно-критическом типе слова и текста. Это еще и своеобразная, чётко осознаваемая реплика в напряженном профессиональном диалоге, который разворачивается и развивается через этот мотив. Позиции литератора-критика-литературоведа, актуализированные в отношении мотива *русский человек на rendez-vous*, – это постепенное создание цельности русской словесности и развитие её *творческой* и *генетической* памяти, что предполагает не поступательное, линейное накопление и анализ смыслов, а их более сложное и тонкое *прорастание* (С. Бочаров) в поле литературной и культурной памяти. Однако этот последний аспект ещё нуждается в пристальном и последовательном изучении.

⁴⁴ Лотман, Юрий. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm_Pusch/index.php. Дата доступа 10.08.2017.